

ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ И РАСКОЛЬНИКОВ: ГЕРМЕНЕВТИКА ДВОЙНИЧЕСТВА

Манолакев Х.

Велико-Тырновский университет им. Свв. Кирилла и Мефодия (Велико-Тырново, Болгария)
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3425-2607>

А н н о т а ц и я . Настоящая статья интерпретирует характер и сюжетную функциональность Порфирия Петровича, одного из главных персонажей романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Цель исследования – доказать, что он является идейным двойником главного героя романа Родиона Романовича Раскольникова в смысловой орбите Наполеоновской идеи. Путем скрупулезного герменевтического анализа трех встреч героев выясняется, что, формально соблюдая закон, Порфирий Петрович исповедует и реализует идею воли к власти над остальными в ее онтологической чистоте. Раскрывается актуальность Наполеоновской идеи в речевом и бытовом поведении Порфирия. Выявляется связь между «профессиональным» и «нравственным» и доказывается, что институционализированный цинизм, с которым Порфирий Петрович применяет закон «на практике», полностью соответствует разработанному Раскольниковым теоретическим принципам классификационного деления людей на «обыкновенных» и «необыкновенных». Параллели и соответствия между героями позволяют обосновать гипотезу о том, что на символическом уровне Порфирий Петрович в сущности наделен биографией, которая незаметно вводится в повествование. Таким образом, у Порфирия и у Раскольникова – общая биография идеи, но каждый из них переживает эту идею по-разному. Осознание единого начала идеи предопределяет и целостное отношение следователя к студенту. С другой стороны, оно дает основания Раскольникову вербально отказать от признания своей вины перед Порфирием, порывая таким образом с символически связывающим их обоих «прошлым».

К л ю ч е в ы е с л о в а : Достоевский; «Преступление и наказание»; Порфирий Петрович; двойничество; Наполеоновская идея; сюжет убийства

PORFIRY PETROVICH AND RASKOLNIKOV: HERMENEUTICS OF DOUBLES

Hristo Manolakev

St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo (Veliko Tarnovo, Bulgaria)
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3425-2607>

A b s t r a c t . The article studies the character and the plot function of Porfiry Petrovich, one of the basic characters in F. Dostoevsky's novel *Crime and Punishment*. The study aims to prove that he can be seen as the protagonist Rodion Romanovich Raskolnikov's double in worldview only in the context of the Napoleonic idea. A detailed hermeneutic analysis of the three encounters between the two characters reveals that under the guise of the Law Porfiry Petrovich has adopted and employed this idea in its ontological purity as the will to exercise power over the rest. His speech and everyday behavior demonstrate how the idea works. The latter serves to bring to light the connection between "professional" and "moral" standards, by proving that the institutionalized cynicism with which Porfiry Petrovich puts the Law "into practice" corresponds precisely to the theoretical principles designed by Raskolnikov to classify people into extraordinary and insignificant beings. The outlined proximity supports the hypothesis that Porfiry Petrovich has a biography, symbolically speaking. It enters discourse imperceptibly as shared by Raskolnikov in terms of the biography of the idea, its birth, and how it is experienced by both men. The awareness of that undivided authority predetermines the overall attitude of Porfiry Petrovich to the student. On the other hand, it also makes Raskolnikov deny verbally his guilt towards Porfiry while seeking a possibility to sever the connections with their "past", binding them symbolically.

Key words: Dostoevsky; "Crime and Punishment"; Porfiry Petrovich; duality; Napoleonic idea; murder plot

Для цитирования: Манолакев, Х. Порфирий Петрович и Раскольников: герменевтика двойничества // Филологический класс. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 50–62. – DOI: 10.51762/1FK-2021-26-04-04.

For citation: Manolakev, H. (2021). Porfiry Petrovich and Raskolnikov: Hermeneutics of Doubles. In *Philological Class*. Vol. 26. No. 4, pp. 50–62. DOI: 10.51762/1FK-2021-26-04-04.

Одним из самых дискутируемых образов романа «Преступление и наказание» является образ следователя, Порфирия Петровича. Как персонаж он укутан плотной герменевтической тенью многих *почему*, из лабиринта которых с трудом можно выйти с ясным представлением о герое.

Порфирий Петрович – семантизирует полностью в сюжете убийства [Manolakev 2012]. Его профессия следователя [Поддубная 1971: 51] заставляет играть разные «роли», о которых нельзя с уверенностью сказать насколько они ему интенционально присущи. Например, можно ли считать Порфирия своеобразным протагонистом автора [Зунделович 1963: 26–27, 29–31, 37–38; Димитров 2018: 68]. Мы узнаем о статье Раскольникова, благодаря его читательской впечатлительности, и таким образом реконструируем предысторию Идеи Родиона Романовича. На самом деле Порфирий Петрович ей противопоставлен, только его отношение к ней не проявляется однозначно, а меняется в зависимости от обстоятельств. Нельзя сказать с уверенностью, насколько предпринятое им дискредитирование идеи выражает позицию автора, следует ли толковать героя в дискурсе официальной законности [Белов 1985: 124–125; Поддубная 1971: 48–50], или поведение Порфирия следовало бы рассматривать единственно в координатах сюжетного столкновения с Раскольниковым. Расходятся и понимания его характера, в котором находим и позитивные, и негативные проявления.

Сложность толкования образа продиктована невозможностью понять, как сам Порфирий, будучи институциональной фигурой, воспринимает и осмысляет сюжет убийства. Его разговоры с Раскольниковым далеко не сводятся только к исполнению служебных обязательств, но в них раскрывается его собственное представление о преступлении. Целостный сю-

жет встреч героев дает достаточно оснований соединить в оппозиционную пару *профессию* и *человека*. Кодом, на котором основана эта оппозиция, является Наполеоновская идея. Отсюда и вытекает цель настоящей работы – показать, что Порфирий Петрович проявляет себя как идейный двойник Раскольникова именно в ее смысловой орбите¹. Именно Наполеоновская идея является звеном, которое соединяет обоих героев в символике сюжета, а не расследование как таковое. Необходимость анализировать каждого в перспективе другого заложена в невидимом идейном подобии героев, следы которого можно уловить и доказать только путем скрупулезного всматривания в сюжет трех встреч между ними.

Порфирий Петрович и Раскольников встречаются трижды, и каждая встреча чем-то отличается от остальных. При первой Раскольников без предупреждения приходит к Порфирию. Вторая происходит на следующий день снова в участке и напоминает допрос, хотя студент официально не вызван в качестве заподозренного в убийстве. При третьей, произошедшей на день позже, внезапно Порфирий посещает Раскольникова в его комнате, похожей на гроб.

Порфирий Петрович, как известно, не имеет биографии. Отдельные «факты» о себе он сообщает во время третьей встречи. Отсюда и проистекает традиционный недостаток в наблюдениях над его образом – использовать эту информацию предварительно, еще в анализе первой встречи. С точки зрения интерпретации это неверный подход. Хотя бы потому, что замысел Порфирия о второй встрече, вообще не предполагал провести третью.

Наш подход к интерпретации трех встреч будет следующим. Роман «Преступление и наказание» – текст, хорошо знакомый и хорошо освещенный. Поэтому мы сначала предложим аналитическое описание каждой из этих

¹Т. Миджиферджян воспринимает Порфирия Петровича одновременно со Свидригайловым как семантическую проекцию Раскольникова. В сложной смысловой связанности троих раскрывается сущность теории Раскольникова [Миджиферджян 1987: 67]. Различные мнения по этому вопросу прослеживаются подробно Н. Тарасовой [Тарасова 2015: 103–105].

встреч, обращая внимание на отдельные «странные»¹ моменты в их сюжетности, с помощью которых в конце построим свою толковательную реконструкцию Порфирия Петровича как характера.

Первая встреча «знакомит» героев фабульно. Раскольников надеется своим внезапным появлением «застать» следователя неподготовленным и узнать что-нибудь об «уликах». В конечном счете удивляется он сам, когда понимает, что Порфирий *уже знает* о нем и давно ждет его прихода в участок [Достоевский 1975, VI: 194].

Встреча начинается как безобидная беседа, подтверждающая известную всем характерную особенность Порфирия, – его притворство и бесконечные превращения. К веселым событиям прошлого он относится с самоиронией, которая предрасполагает к фамиллярной и непринужденной атмосфере. Во всяком случае так кажется Раскольникову, который слушает его. Увертюра кончается внезапно цинично-насмешливым уверением в том, что Порфирий сознательно «притворяется» в своих взаимоотношениях с другими. Еще более изумляет Раскольникова услышать бесцеремонное заявление следователя: «*Подождите, я и вас проведу – ха-ха-ха*» [Достоевский 1975, VI: 198]. Эти слова произносятся без какой-либо связи с конкретной коммуникативной ситуацией. Зачем, однако, нужно обманывать кого-то, кто до этого момента был тебе не знаком и с кем ты не общался? Трудно предположить, чем вызваны эти слова. Бесспорно лишь то, что они указывают на явную границу в отношениях Порфирия Петровича и Раскольникова, только после слов следователя в сущности и начинается настоящий разговор между героями.

А разговор этот начинается необычно.

Без всякого вступления Порфирий фокусирует свое внимание на статье Раскольникова «О преступлении...», которую он прочитал месяца два назад. Она произвела на него сильное впечатление своими радикальными тезисами. А это послужило поводом для того, чтобы познакомиться со студентом. Но перед тем, как продолжить, необходимо сделать небольшое отступление.

В данном случае Идея Раскольникова находится вне нашего непосредственного исследовательского интереса. Но поскольку отдельные аспекты этого вопроса неизбежно станут объектом анализа, они будут осмысляться главным образом в связи с коммуникативными реакциями участников разговора. Напомним и другое. Каждый из героев неосознанно или целенаправленно строит свое отношение к Идее и сквозь призму произошедших убийств: Раскольников будет говорить не просто как автор статьи, но неизбежно опираясь на пережитый опыт в результате применения на деле собственных взглядов; Порфирий Петрович явно уже стал подозревать студента. Разумихин – единственный персонаж, чье сознание не обременено. Дальше всех от теоретических проблем спора стоит четвертый присутствующий – Заметов.

Порфирий не теоретизирует, не спорит с Раскольниковым о том, правильны или ошибочны высказанные взгляды, не оценивает их философского или нравственного значения. Его цель – расположить к себе Раскольникова, чтобы тот стал говорить о своих идеях.

Порфирий слушает исключительно внимательно. Он как будто вместе с говорящим переживает рассказ. Разумихин, услышав впервые абсурдную идею, реагирует с недоумением и с негодованием. Заметов в углу проявляет профанное безразличие к теме. Таким образом, в хронотопе соединяются четыре разные рефлексии, и уютнее всего в данной коммуникативной ситуации, как видим, чувствует себя следователь.

Раскольников кончает шаблонной фразой о Новом Иерусалиме, которая явно отсутствует в статье. Иными словами, принятие изложенной теории привело бы к достижению нового социального Идеала. Порфирий Петрович цепляется за эту мысль с любопытством и удивлением [Тихомиров 2005: 242–248]. Статья не убеждала в подобной возможности, но сомнения остались. И они ставят вопросы о вере, о Боге, о воскрешении Лазаря, о том, во что и как верит Раскольников? Ничто из сказанного в разговоре между ними не актуализирует эти вопросы.

¹ Сознательно выбираем определение. Оно связано с характеристикой «странный человек» [Достоевский 1975, VI: 353], которую Раскольников дает Порфирию перед тем, как окончательно расстаться.

Сразу после этого Порфирий переключает разговор на коммуникативный регистр уже знакомого нам поведенческого стереотипа. Речь его кипит издевательской иронией и вызывающей язвительностью: статья Раскольникова превращается в *статейку*, ее основная мысль сводится к жалкой *идейке*, а верховное дело десакрализовано в бытовую будничную резню. Если внимательно всмотреться слова следователя, заметим, что преднамеренная профанация дискредитирует *форму*, но *обходит молчанием* сущность «содержания», потому что отсутствует человеческая реакция негодования на высказанную возможность безнаказанно распоряжаться чужими судьбами.

Впрочем, именно так реагирует неискушенное сознание Разумихина, и за счет контраста отсутствие ожидаемого становится более видимым. Разумихин пытается рассуждать над тезисом о допустимости *крови по совести* и приходит к заключению – «это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное...» [Достоевский 1975, VI: 203]. Мысль его ориентирована на Раскольникова, но ей отвечает неожиданно Порфирий Петрович «Совершенно справедливо, страшнее-с» [Достоевский 1975, VI: 203]. Почему, однако, ставится акцент именно на *совести*? Если соединить два коммуникативных контекста, тогда подтверждение начинает звучать и как признание. Это подчеркнутое внимание к совести заставляет нас задуматься, не является ли Порфирий, бесцеремонно навязывающий нам определенный поведенческий облик, обдуманной вербальной маской незнакомого человека.

И последний момент, о котором стоит размышлять, связан с наполеоновским мотивом. Нигде в своем изложении Раскольников не упоминает имя Наполеона, а использует его в форме нарицательного существительного («Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами» [Достоевский 1975, VI: 199–200]). Этой метонимией он обозначает идеологию, которая выбрана им в качестве дифференцирующего признака для разграничения отдельного индивида (*сильную личность*) от толпы. В действительности именно Порфирий Петрович переводит *наоборот*, от общего к конкретному, настоятельно пытаясь внушить своему собеседнику возможную связь между исто-

рическим примером и случившимся злодеянием. Но и он не упоминает имя Наполеона. Раскольников с отвращением отклоняет наглое внушение. Ответная реплика Порфирия открыто раздражает своей бесцеремонностью: «Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? – с страшною фамильярностью произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное» [Достоевский 1975, VI: 204].

Может быть, здесь «ясное» является прозрением вероятной связи между статьей и случившимся. Каждый из них обоих сознательно избегает точной формулировки. Это право доверяется чистому сознанию Заметова, который все угадал и оглашает публично намек, переводя казус спора на понятный бытовой уровень, т. е. убийство совершено кем-то, одержимым Наполеоновской идеей. Наступает тягостное молчание, а точка зрения повествователя переносится на Разумихина, который только теперь стал догадываться о чем-то. Он начинает сознавать что-то, что, наоборот, сближает Порфирия и Раскольникова и так отделяет их от остальных находившихся в комнате.

Итак, первая встреча ставит Раскольникова и Порфирия в ситуацию соизмерения, которое далее будет углубляться. Они в окружении Разумихина и Заметова, присутствие которых придает особый семиозис этой встрече. Благодаря Разумихину и Заметову автор усиливает ее глубину, выделяя различные иерархические уровни отношения к разговору. На самом низком – профанное сознание Заметова. В отличие от Заметова сознание Разумихина – *чистое*. В отличие от Раскольникова ему в голову не приходила подобная идея, но он понимает ее сущность. В сравнении с остальными участниками разговора, его сознание не искушено (как у Порфирия, который тоже размышлял над этими вопросами) и не загрязнено (как у Раскольникова, который уже убил, т. е., перешел границу между *теорией* и *практикой*). Следовательно, если принять, что сознание Раскольникова осенила Идея, вопрос в том, какое место в этой иерархии займет Порфирий Петрович? С точки зрения концептуальности встречи следователь представляет собой неизвестное в ее уравнении, так как только он не формулирует отношение к услышанному! Однако вопросы, которые Порфирий задает

Раскольникову, показывают, что следователь находится гораздо ближе к автору статьи, чем можно было бы предполагать.

Вторая встреча происходит в участке на следующий день после первой. Повод для ее проведения формален, Раскольников пришел, чтобы внести требуемое Порфирием заявление о собственности на вещи, заложенные им у Алены Ивановны. Перед тем, как проследить за развитием этого нового и еще более продолжительного разговора между героями, необходимо напомнить о двух эпизодах, имеющих прямую связь с их предшествующей встречей.

Сразу после нее Раскольников встречается с мещанином, который заявляет ему без всяких оговорок прямо в лицо «Ты убивец» [Достоевский 1975, VI: 209]. И второй эпизод – вечером того же дня он отправится к Соне и помимо прочего выразит желание услышать притчу о воскресшем Лазаре. Этот внезапный, незапланированный поворот к вере – непосредственная рефлексия в результате состоявшейся первой встречи с Порфирием [Тороп 1997: 107–108; Тихомиров 2005: 224; Димитров 2018: 74].

Но вернемся ко второй встрече.

Она реализует профессиональный подход Порфирия Петровича *на практике*.

В дореформенном суде, как известно, приговор выносился только при наличии явных улик. Косвенные доказательства, независимо от их количества, не рассматривались судом [Белов 1985: 126]. Порфирий был знаком с этой *формальной* слабостью позиции расследования. Но слабость закона сознается и Раскольниковым, это дает ему основание вцепиться с такой внутренней яростью в аргумент об отсутствующих доказательствах. Поэтому и Порфирий стал играть в свою тайную психологическую игру, игру на нервах, против своего оппонента. Ее цель – *вынудить / заставить Раскольникова признаться всем, что он убийца*.

Позднее читатель узнает, что в *то же самое утро* у Порфирия был мещанин, который поделился своими подозрениями в преступлении студента. Пока они разговаривали, выясняется, что пришел Раскольников с просьбой встретиться со следователем. И тут же Порфирий решает на дерзкий эксперимент – организовать неожиданную «очную ставку» между мещанином и Раскольниковым. Словом, к *их*

второму разговору Порфирий приступает вполне убежденным в виновности своего оппонента.

Порфирий Петрович старается вывести Раскольникова из состояния психического равновесия и сломить его окончательно задуманной неожиданной очной ставкой. Только он не предвидит два обстоятельства. Студент вдруг оказывается несговорчивым и крепколобым, а, с другой стороны, план следователя не учитывает фактора случайности. В кульминационный момент, когда кажется, что в любую минуту Раскольников сорвется, в комнату внезапно и неудержимо вторгается раскольник Миколка, который признается в том, что он совершил убийство. По воле судьбы подозрение в преступлении снимается с Раскольникова.

Так воспринимается вторая встреча сквозь призму внешнего взгляда. Но некоторые детали поведения Порфирия дают нам основание более внимательно вслушаться в сказанное им.

Весь облик следователя заметно меняется. В предыдущем разговоре он был в общем неподвижным, а повествование осведомляло о переменчивости его эмоциональных реакций. Теперь он *беспрерывно ходит* по комнате, исчезает прежняя флегматичность. Эта внезапная сверхподвижность парадоксально показывает *тело* в пространстве, и только сейчас мы замечаем его «маленький рост» [Достоевский 1975, VI: 256]. Динамика одного персонажа заставляет другого постоянно следить за ним пристальным взглядом. Постороннему наблюдателю кажется, что разговор как будто протекает без повода. Таким его видит Раскольников сквозь собственный горизонт восприятия, и эта неопределенность, *разлитость* слов действует ему на нервы, приводит его почти к нервному припадку. А это и есть тайное намерение Порфирия Петровича. Движение и речевой жест в их сочетании создают определенный, постоянный ритм. Они *символически кружатся вокруг слушающего*, их пульсация все более очевидно подсказывает, что Слово приближается к какому-то мгновению неожиданности...

Только уловка не срабатывает, что является неожиданностью и для самого Порфирия. И эта неожиданность ведет к последующей, такой же внезапной перемене в его поведении. Прежнее добродушие исчезает, и откуда-то по-

является *неподозреваемая злоба*. Для Порфирия финал встречи оказывается *поражением*.

Но следует и третья неожиданность. С ней сталкиваемся минут через двадцать, после того как Раскольников вернулся в свою квартиру. Без стука в дверь, в комнату входит мещанин. Поклонившись Раскольникову, мещанин просит у него прощения за то, что заподозрил его в причастности к убийству. Он рассказывает ему, что во время разговора стоял за перегородкой, где спрятал и запер его на ключ Порфирий Петрович. И услышал все.

Необходимо, однако, дать себе отчет в том, что для Раскольникова и для нас подобная неожиданность приобретает различную идеологию. Раскольников узнает об уловке. А мы, благодаря случаю, имеем возможность понять, что и характер Порфирия, искусно скрываемый за разными *масками*, представляет собой не меньшую тайну, чем тайна Раскольникова. И теперь, благодаря рефлексии мещанина неожиданно, нам открывается другая его черта.

Подслушивание – важный мотив фабулы «Преступления и наказания». Но сюжет всегда требует подчеркнуть форму его возникновения и развертывания, что является смыслоопределяющим. Ограничимся только двумя примерами.

Во-первых, Раскольников *случайно* дважды подслушивает – в кабаке, где у него за спиной сидят студент и офицер, со слов которых он слышит материализованный образ своей Идеи; в парке, за кустами, супругов-торговцев и Лизавету, от которых узнает, что на следующий день ее не будет дома, и он решает действовать.

Во-вторых, Свидригайлов, после того как случайно узнает о пустой комнате рядом с квартирой Сони, *сознательно* начинает подслушивать и таким образом слышит исповедь Раскольникова.

Между этими двумя противоположными сюжетными ситуациями парадоксально вписывается эпизод с мещанином. Парадоксально, так как в нем сходятся противоположные аспекты разговора. Порфирий Петрович организует его инсценировку так, что мещанин одновременно участвует и не участвует в нем, что он остается скрытым, но и в то же время *под*

рукой, в готовности для быстрой реакции. Словом, *оставляет мещанина, чтобы слушать*, и вместе с тем, не сознавая это, *заставляет его и подслушивать*. И мещанин подслушивает, но что именно?

Со своей стороны, мотив *подслушивания* соединяется с мотивом *тайны*. Даже если и ограничиться вышеприведенными примерами, видно, что пересечение подслушивания и тайны является функциональным в отношении сюжетной бытийности главного героя.

Сложнее интерпретировать примеры о душе как о тайне. Раскольников исповедует Соне. Но повествование следит и за спрятавшимся в соседней комнате Свидригайловым. Вопрос не в том, что Свидригайлов узнает тайну Раскольникова, а в том, что он эту тайну присваивает. Следовательно, подслушанное им начинает осмысляться в нравственной категориальности.

После этого обращения к поэтике романа уже выясняется направление нашего наблюдения.

В сложившейся коммуникативной ситуации протекающего разговора тайно подслушивают Порфирия. Неизвестная сущность его характера является настоящим неизвестным в уравнении *тайны*. Вообще неслучайно, что подслушивающий, мещанин, вводится в курс как сознание, существующее полностью в соответствии с религиозными представлениями о правильном и греховном. Вовлеченный судьбой в случай, спрятавшись за перегородкой и будучи не в состоянии видеть разговаривающих, он почувствовал своей чистой душой, что Порфирий – *плохой человек*: «И всё слышал, всё, как он вас истязал» [Достоевский 1975, VI: 275]. Это внезапное подглядывание за маской добродушия¹ указывает на тайну Порфирия. В памяти текста параллелизм в ситуациях подслушивания позволяет непреднамеренно соотнести следователя со Свидригайловым и уловить некое неожиданное сближение между ними в значениях нравственного.

Для Раскольникова **третья встреча** неожиданна. А для Порфирия Петровича, посетившего его внезапно, она особенно желанна.

¹ На мотив жестокости Порфирия («юридический садист»), искусно скрываемой за маской добродушия, обращает наше внимание исследование Л. Д. Волковой и Ю. В. Лебедева («Роман Достоевского «Преступление и наказание» в школе». Кострома, 1968), процитированное Р. Поддубной [Поддубная 1971: 54].

Согласно замыслу второй встречи, который, как кажется, молниеносно оформился в сознании следователя непосредственно до ее начала, третьей встречи не должно было быть. Несмотря на это она, третья встреча, вообще не спонтанна. К ней Порфирий готовится старательно. Но не попытка Раскольникова ускользнуть от закона является вызовом для следователя. Невыносим факт, что из схватки он, Порфирий Петрович, *не вышел победителем*.

В тесной комнатке студента теперь *впервые* их только двое. Порфирий *играет в примиренность*, примиренность проигравшего. Он пришел, чтобы разобраться; извиниться за свое издевательское поведение *тогда*, оправдываясь законами профессии. Но именно в проявлениях профессионального и кроется обманное коварство этой, предпринятой им, встречи. Теперь Порфирий *играет* следователя. Изложенная им реконструкция событий, связанных с убийствами, в наибольшей степени приближается к норме криминального жанра. И если используются устойчивые типологемы «убийство» и «заподозренный», то в конце следователь должен изложить свою версию [Димитров 2018]. В соответствии с жанровой типологией наступает и кульминация реконструкции – в отправленном обвинении: «Да вы убили, Радион Романыч! Вы и убили-с...» [Достоевский 1975, VI: 349, к. а., Ф. Д.].»

А дальше следователь неожиданно разъяснит Раскольникову все *возможности обойти закон и смягчить приговор*. Странное несоответствие нормам криминального жанра?! Теперь срабатывает тактика, которая предполагает и обдуманное собственное поведение, *уговорить его, склонить его* признаться.

Во время всего разговора Порфирий Петрович не перестает напоминать, что он не злой. Иными словами, он настаивает на том, чтобы Раскольников согласился, что рядом со следователем все время был и честный, доброжелательный человек. Существуют ли однако основания верить этому утверждению? Правильно ли согласиться с тем, что если кто-нибудь нравственен по-своему, в соответствии со своим собственным пониманием морали, на самом деле становится настоящим нравственным человеком? Именно на эту дилемму указывает он, когда к концу встречи произносит следующее суждение: «Еще хорошо, что вы ста-

рушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали!» [Достоевский 1975, VI: 351].

Второй странный момент во время встречи – это признание Порфирия по поводу статьи: «Мне все эти ощущения знакомы, и статью вашу я прочел как знакомую. В бессонные ночи и в иступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным» [Достоевский 1975, VI: 345]. Поверить ли нам этому признанию с автобиографическим привкусом?

Связующим звеном приведенных примеров является как будто ослабленный самоконтроль мысли. В первом примере навязывается сверхцинизм сравнительной степени. Как так произошло, что *профессионал* забыл, что число жертв *все же* больше, чем одна. А во втором, принимая слова статьи за истину, Порфирий Петрович вдруг вспоминает о себе, это *единственная автобиографическая деталь* о герое, о прошлом которого ничего не знаем. Насколько случайно, но уже с точки зрения смысла, что этот факт появляется в связи со статьей Раскольникова?

Попробуем заглянуть сквозь эти удивляющие трещины *откровения* за усердно навязываемую нам маску благонамеренного профессионала, актуализируя в нашей исследовательской реконструкции отчетливые странности в поведении и речи Порфирия.

Разумеется, следует начать со статьи, с начальной заочной встречи Порфирия и Раскольникова. Теперь он еще более откровенен, чем *тогда*, когда он прочел ее в первый раз, на него произвели сильное впечатление ее идеи. Очень странно звучит в устах Порфирия Петровича описание состояния, в котором она была задумана и в котором вызревали ее идеи. Кажется, и «гордый энтузиазм», и «стуканье сердца», и «горячая проба пера», и «смелость отчаяния» [Достоевский 1975, VI: 345] являются рефлексиями некоего знакомого, пережитого им самим опыта. Поэтому он так психологически убедителен, когда говорит о бессонных ночах, в которых она была задумана и создана.

В критике констатируется, что статья является исключительной фабульной деталью в отношении предыстории преступления, теоретическим подступом к Идее. Но нет объяснения

того факта, что *эта* деталь вводится в дискурс сквозь сюжетную призму *другого героя*, а не ее автора, который *реально* забывает ее. Наративизированный таким образом факт функционирует как косвенная характеристика сюжетного бытия и Порфирия. В этом особом жесте повествования – Порфирия-читателя – скрывается и ключ к толкованию. Если наличие этого факта ограничилось бы только пространством первой встречи, то его функциональность была бы скорее всего факультативной, т. е. она стала бы поводом для начала разговора между героями. И только. Объяснение состоит в повторном возвращении к факту при третьей встрече. Напоминанием о статье Порфирий будто не хочет ограничиваться внешней впечатлительностью читателя, а, добавляя характеристики, преобразует факультативную функциональность в Смысл.

К содержанию статьи больше добавить нечего. При этом заметим, что коммуникативная форма ее артикулирования полностью соответствует риторике монолога. Именно Порфирий возвращается к статье, чтобы внушить, что благодаря ей Раскольников все время был для него предсказуемым. Потому что он сам когда-то тоже прошел через испытания подобных юношеских увлечений. Теперь, когда они впервые остались только вдвоем, он разрешает себе поделиться чем-то сокровенным. *Сейчас Порфирий Петрович говорит о себе.*

Порфирий тоже заражен проказой Наполеоновской идеи, понимаемой в ее онтологической чистоте как Воля к власти над простыми людьми. И продолжает тайно быть полностью захвачен ею¹.

Когда он прочитал статью, он был изумлен, обнаружив в ней знакомые мысли, терзавшие и его душу в бессонные ночи молодости, но (наверное) более четко развернутые в целостную теорию. Если у него все было просто красивым хаосом, упоением всевозможными фантастическими помыслами о сильной личности и о властвовании над простыми людьми, то у Раскольникова он увидел логическую формулировку, которая произвела на него впе-

чатление. Поэтому он и подумал «Ну, с этим человеком так не пройдет!» [Достоевский 1975, VI: 345]. Потому что он, Порфирий Петрович, остановился! Причина неизвестна. Может быть, он одумался под влиянием силы разума или внезапно испугался под давлением общепринятых нравственных и гуманных ценностей, составляющих в каком-то смысле нашу человеческую сущность, или испугался неизбежной санкции?

Порфирий запомнил статью. Невозможно ее забыть, она часть его собственного тщательно скрываемого сокровенного прошлого². Он нетерпеливо стал ждать встречи с тем, кто, в отличие от него, осмелился шагнуть по ту сторону. Отсюда и причина *испытующего всматривания* в Раскольникова при первой их встрече с надеждой уловить то незримое, что проводит границу между ними. Размышлением о сравнении начинается эта часть их разговора – как случилось, что тот, другой, мог продолжить дальше? Вот откуда и пошли вопросы о вере, о Боге, о совести. *Они являются рефлексиями собственного пережитого драматического опыта.*

Традиционно констатируется, что у Порфирия Петровича нет биографии. Но этот факт констатируется *сам по себе*, не аналитически. В сущности, вот его *неизвестная биография*, которая как-то незаметно вводится в дискурс. Оказывается, что у Порфирия и у Раскольникова – общая биография идеи, но каждый из них переживает эту идею по-разному. Именно сознание о противоположной ее реализации другим предопределяет и целостное отношение следователя к студенту. Для Порфирия Петровича Раскольников не просто убийца, а является тем, кем сам Порфирий не может быть. Вот почему и их встречи им воспринимаются и переживаются как столкновение, объяснимое в дискурсе Идеи. Для Порфирия это яростное соперничество, выход из которого один – заставить Раскольникова сдаться. Это означало бы, что он победил его как Идею, т. е., не как спор с человеком (этическое измерение), не как возможность перехитрить убийцу (професси-

¹ Мы полностью опираемся на толкование идеи Раскольникова, предложенную В. Я. Кирпотиним (разграничение между «начальной» Идеей и ее «трансформацией» в Идеал) в его знаковом исследовании романа [Кирпотин 1986: 73–120].

² Подобная идея, но без аргументации была высказана еще в 1960-е годы Н. Чирковым [Чирков 1967: 103]. После резкой критики Р. Поддубной, определившей ее неправдоподобность [Поддубная 1971: 55], к этой гипотезе не возвращались.

ональное измерение), а как соперничество против *иного прочтения* общей Идеи. И это тайное понимание их одинаковости на фоне объединяющей их биографии Идеи определило стратегию поведения Порфирия по отношению к Раскольникову.

Порфирий Петрович не предал Наполеоновскую идею. Она формирует его отношение к миру и к окружающим возможностью властвовать над ними. Герой применяет ее тайно. Она проявляется в непрерывной игре с масками, со стилистикой и риторикой высказывания. В этом состоит и настоящая цель притворства, мнимого обмана, который принимает форму безобидной шутки – чтобы как-то незаметно другие были подчинены собственной воле под скрытой уловкой пародийных перевоплощений *à la* Гоголя. Во время второй встречи, когда *метод* уже в *своей стихии*, из уст Порфирия звучат откровения, недопустимые для его институциональной позиции. Изрекаются признания, которые позже звучат и в исповеди Свидригайлова, а, говоря о нем, мы однозначно квалифицируем их как предел прогнившей души героя. Случайно ли подобное сходство при условии, что они, Свидригайлов и Порфирий, не знают друг друга и в сюжете вообще не встречаются?

Отправной точкой к этому амбивалентному сопоставлению может послужить мотив *бабочки, летящей на свечу*.

До первой их встречи Раскольников внезапно уподобляет свой приход, без приглашения и предупреждения, к Порфирию бабочке, которая «сама на свечку летит» [Достоевский 1975, VI: 190]. Для сознания, испытывающего предельное напряжение из-за предстоящей неизвестности, это сравнение – выражение фаталистического предчувствия гибели. Нелепая ассоциация, которую герой смог преодолеть, возвращается в дискурс во время второй встречи: ее издевательски повторяет Порфирий Петрович – «Видали бабочку перед свечкой?» [Достоевский 1975, VI: 262]. Наблюдения над неожиданной тавтологией в рефлексиях двух сознаний обычно ограничиваются указанием на сходство фраз. Но между коммуникативными ситуациями существует принципиальная разница, и именно она важна. Идиоматической лаконичности Раскольникова, Порфирий противопоставляет вызывающе детализован-

ное сравнение. В его комментарии на семантическом уровне фразы появляются новые знаки, которые незаметно меняют смысл: «Видали бабочку перед свечкой? Ну, так вот он [т. е. заподозренный, уточнение мое, Х. М.] всё будет, всё будет около меня, как около свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть! /.../ И всё будет, всё будет около меня же круги давать, всё суживая да суживая радиус и – хлоп! Прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с, а это уж очень приятно-с, хе-хе-хе!» [Достоевский 1975, VI: 262].

В этом объяснении начальная идиома заменяется другим, в котором он недвусмысленно отождествляется с пауком-охотником.

После перемены семантического центра следует мотив *опутанной паутиной «бабочки»*. Именно на эту ассоциацию мы обратили свое внимание, наблюдая над поведением и речью Порфирия во время второй встречи. На символическом уровне шарообразное, округленное тело Порфирия Петровича, которое не перестает слоняться по комнате, напоминает движение паука, сплетающего паутину везде между «стенами и углами» [Достоевский 1975, VI: 255–256; Ветловская 2001: 152–155].

Выглядит странным, но, когда рассуждают о моральном облике следователя, пропускают или не замечают приведенные выше в цитате последние слова. Для Порфирия смысл сравнения – в откровенном цинизме желанного поглощения. Например, если высказывание имеет целью внушить идею поимки заподозренного в преступлении, то тогда оно могло бы закончиться выражениями типа «прямо в капкан попадет» или «прямо в сети запутается». Нет. Порфирий хочет особо подчеркнуть ситуацию поглощения жертвы и пережитого удовольствия от протекания этого хищнического акта. Интересно и другое. Мысль об ожидаемом приятном переживании в результате *поглощения* появляется в том же самом монологе еще раз, чуть раньше, но в более различимом тематическом контексте: «Да оставь я иного-то господина совсем одного: не бери я его и не беспокой, но чтоб знал он каждый час и каждую минуту, или по крайней мере подозревал, что я всё знаю, всю подноготную,

и денно и ночью слежу за ним, неусыпно его сторожу, и будь он у меня сознательно под вечным подозрением и страхом, так ведь, ей-богу, закружится, право-с, сам придет да, пожалуй, еще и наделает чего-нибудь, что уже на дважды два походить будет, так сказать, математический вид будет иметь, – оно и приятно-с» [Достоевский 1975, VI: 261].

«Приятное» в этом начальном признании означает видеть проявления *страха в поведении заподозренного*. От страха и оцепенения к исчезновению в раскрытую пасть – вершина удовольствия состоит в том, чтобы безжизненная жертва *сама* попала в ловушку.

Именно в этом месте необходимо сопоставить Порфирия Петровича со Свидригайловым. Точнее, речь идет о второй его встрече с Раскольниковым, когда Свидригайлов цинично раскрывает свою душу, испорченную развратом [Манолакев 2007: 156–186]. Одно из величайших искушений для него – соблазнить целомудренную женщину. Вся перверсия трепетно ожидаемого удовольствия предполагает так манипулировать женщиной, что она *сама* захочет сделать грех. Рассказывая о сорвавшейся подобной игре по отношению к Дуне, сестре Раскольникова, Свидригайлов употребляет следующую фразу, когда характеризует стратегию целенаправленной подготовки: «Я тотчас же смекнул, что птичка сама летит в сетку, и, в свою очередь, приготовился» [Достоевский 1975, VI: 365].

Видно, что по своему значению подобная игра пребывает в непосредственной синонимической близости к указанным вариантам *летающей на свечку бабочки*. Сходства Свидригайлова и Раскольникова можно наблюдать единственно в модальности движения. Близость с Порфирием проявляется серьезнее – в настрое расставлять сети так, что невинная, ничего не подозревающая жертва, сама должна запутаться в них. Именно это типологическое сближение со Свидригайловым убеждает в том, что трепетное ожидание «охотника», чтобы капкан щелкнул, помогает выявить подпольные стороны характера Порфирия Петровича и его морально не менее *поврежденную* душу. И для обоих мысль об удовольствии связывается с желанием видеть страх в глазах своей жертвы, и это переживание при-

сутствует в сходных эмоциональных рефлексиях.

Равнение на Свидригайлова посредством сходства манипуляций с жертвой является ключом к актуализации Наполеоновской идеи в бытии Порфирия. Свидригайлов добивается власти над другими с помощью развращающей силы денег, а Порфирий – опираясь на *институцию*.

Порфирий Петрович не бросает Наполеоновскую идею, она никогда его не покидала. Мечта о ней предопределила его социальную реализацию. Неслучайно он выбрал следствие. Если *раньше* его мечту сдерживали нравственные ограничения, *сейчас* Закон дает ему свободу власти. Он и исполнитель закона, но вместе с тем тайно находится вне его, т. е. закон охраняет его, чтобы он сам стал Законом. Если вернуться к непосредственному началу второй встречи, можем принять, что слоняющаяся туда-сюда «*маленькая, толстенькая и круглая фигурка*» [Достоевский 1975, VI: 256] Порфирия Петровича напоминает о популярном карикатурном образе Наполеона в европейской и русской периодической печати. Мы целенаправленно подчеркнули тот факт, что во всем сюжете единственно здесь повествование *отмечает тело* Порфирия в пространстве. Знак предшествует действию и тому, что предстоит, а именно – приложению метода на практике. Следовательно, за этим перевернутым изображением можно разглядеть приложение Наполеоновской идеи. Только мы должны его осмыслять в аспекте значения действующей в то же самое мгновение символики паука-охотника.

Сложное наложение этой двойной символики в действиях Порфирия-следователя превращает Идею в нечто мелочное, карикатурно выродившееся. Она проявляется в презрительном отношении к подозреваемому, который для следователя не человек, а просто жертва. Несанкционированное издевательство над ней – право, обеспеченное Порфирию... законом. В том именно состоит гнусность его *необыкновенности* – за маской справедливости практиковать Власть как удовольствие, получаемое от *унижения, поглощения* жертвы.

Третья встреча демаскирует безнравственность его Идеи. Исследовательская традиция принимает Порфирия Петровича за исключи-

тельного профессионала и добродетельного человека, но он как олицетворение Закона допускает убийство *даже* и одной незначительной старушонки. Рассуждает тот, кто применяет на практике те же самые критерии классификационного разделения людей, теоретически обоснованные Раскольниковым в его статье. Вместе с тем поражает сверхцинизм сравнительной степени, забывающей (!), что число жертв Раскольникова *все же* больше, чем одна. А мог ли пропущенный сквозь призму Наполеоновской идеи взгляд Порфирия заметить смерть ста миллионов Лизавет? И наоборот, если бы была убита *только* Лизавета, имело бы место расследование убийства? Кто тогда слепой – Закон или тот, кто одержим Идеей и присвоил в ее имени закон? Так приводится в действие презрение «необыкновенной личности» к «обыкновенным людям». Один убивает их топором, другой распоряжается их судьбой, подчиняя институцию и отказывая Лизавете в праве, чтобы ее смерть была расследована.

Кульминация этого институционализированного цинизма – тайная жизнь в Наполеоновской идее и посредством ее в том, как Порфирий исчерпывает свой сюжет. В собственных представлениях он всегда ставит себя выше закона. В конечном счете именно Он, а не Закон распоряжается судьбой Раскольникова, обеспечивая ему легкий приговор. За одну никому не нужную старушонку – столько! Вот почему этот приговор нелогично и не аргументированно *более легкий*. Чтобы заметить в этой юридической недопустимости Волю к власти Порфирия Петровича.

Исследовательская традиция интерпретирует начальную ситуацию романа символически – спуск Раскольникова с вершины обманчивой идеи вниз, чтобы пойти, не сознавая этого, по длинному и мучительному пути возвращения обратно к людям.

В смысловом контексте движения сходной символикой нагружается и подъем Порфирия наверх по лестнице к той же самой каморке при их последней встрече. Его откровение не могло бы состояться ни в каком другом месте. Но не потому, что впервые Раскольников и Порфирий действительно одни, а потому что они здесь *вместе в этой* комнатке-утробе. Порфирий символически вернулся к перво-

ждению своей идеи, вернулся к воспоминаниям о начале. Наверное, и у него – когда-нибудь и где-нибудь – идея родилась в подобных нищенских условиях. Кажется, по-другому и быть не могло. Сейчас они рядом, лицом к лицу, в этом невозможно тесном пространстве, в котором не хватает воздуха.

Они смотрят друг на друга испытующе, у них единое начало, но каждый видит в другом свою противоположность. С точки зрения Идеи позиция и отношение Порфирия Петровича к Раскольникову на протяжении всего действия, символична и в ином плане. Порфирий противопоставляется тому, кто предал Идею. Стать Наполеоном во имя низших – это профанация Идеи. А Порфирий отстаивает ее чистоту, ее существование только для избранных, для «исключительных личностей». Поэтому и приходит сюда, где порвалась между ними пуповина подобия, чтобы дать решительный бой отщепенцу. В соответствии с этим развитием две разные дороги, по которым каждый из них идет, подсказывают и код к символике конца их взаимоотношений и их расставания.

Порфирий Петрович удовлетворен страхом, который почуял у своего соперника. Наверное, когда узнает, что студент все же сдался в участке, тогда он полностью убедится в своем успехе.

Но здесь необходимо снова вспомнить о Свидригайлове, другом ярком двойнике Раскольникова, чтобы понять вариант исхода, избранного им, Раскольниковым, по сравнению с Порфирием [Миджиферджян 1987: 65–81]. Несколько раз Свидригайлов намекает студенту, что оба они очень похожи. Настаивание на близости, от которой Раскольников неистово бежит. Он, лишивший жизни двух женщин, отказывается уподобиться тому, у которого гнилая душа.

В таком случае, не является ли типологически схожей и ситуация третьей встречи, ситуация откровения. Присутствие Порфирия Петровича *здесь и сейчас* в ней символически напоминает об общей сдваивающей их Сущности.

Раскольников, однако, отказывается согласиться с этим символическим напоминанием. Обратим внимание. Верно то, что он молча выдал себя перед Порфирием. Но имеет значение факт, что он вербально ни в чем не признался перед ним. Признаться *перед ним* означало бы

согласиться, что они все же подобны друг другу. Поэтому и отказывается довериться ему, несмотря на открытость Порфирия.

Раскольников признает свою вину в участ-ке. Другими словами, символически признается перед властью Закона, а не перед властью Идеи. Этим публично высказанным признанием окончательно расходятся дороги Раскольника

и Порфирия Петровича. Один из них получит возможность, делая первый шаг на пути к очищению и открыто признавая свою вину, воскреснуть для новой жизни, а другой останется мертвым, замыкаясь в самодовольстве мизерной идейки, и продолжит тайно распорядиться судьбами несчастных заподозренных.

Литература

- Белов, С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий / С. В. Белов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 239 с.
- Ветловская, В. Е. «Хождение души мытарствам» в «Преступлении и наказании» Достоевского. (Статья вторая) / В. Е. Ветловская // Достоевский. Материалы и исследования. – 2007. – Т. 18. – С. 143–160.
- Димитров, Л. Зловещий доброжелатель. (Порфирий Петрович в персонажната система на романа «Преступление и наказание» от Ф. М. Достоевски) / Л. Димитров. – Текст : электронный // Интерпретираме руската литература : Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. д-р Петко Троев / съставители А. Вачева, Г. Петкова, Р. Парашкевова. – София : СУ «Св. Кл. Охридски»; ФСФ, 2018. – С. 67–75. – URL: http://digilib.nalis.bg/dspviewer/srv/viewer/eng/ceaf90a-e162-4ede-babo-fc64e0640e91?tk=zur5CuFiTt66sPxx4GQOkQAAAAAgzcU9.ZsmDwu-ZK7gcQbHj_d2BMw&citation_url=/xhtmlui/handle/nls/29150 (дата обращения: 22.06.2021).
- Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Т. 6: Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский. – М.; Л.: Наука, 1973.
- Зунделович, Я. О. О стиле романа Достоевского «Преступление и наказание» / Я. О. Зунделович // Романы Достоевского. – Ташкент : Средняя и высшая школа УзССР, 1963. – С. 10–61.
- Кирпотин, В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова / В. Я. Кирпотин. – 4-е изд. – М.: Художественная литература, 1986. – 414 с.
- Манолакев, Х. П. Сюжет Свидригайлова: текст и контекст / Х. П. Манолакев // Достоевский и мировая культура. Альманах. – 2007. – № 22. – С. 156–186.
- Миджиферджян, Т. В. Раскольников – Свидригайлов – Порфирий Петрович: поединок сознания / Т. В. Миджиферджян // Достоевский. Материалы и исследования. – 1987. – Т. 7. – С. 65–81.
- Поддубная, Р. Н. Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / Р. Н. Поддубная // Вопросы русской литературы (Львов). – 1971. – Вып. 1/16. – С. 48–58.
- Тихомиров, Б. Н. «Лазарь! Гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий / Б. Н. Тихомиров. – СПб.: Серебряный век, 2005. – 472 с.
- Тарасова, Н. А. Христианская тема в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского / Н. А. Тарасова. – М.: Квадрига, 2015. – 192 с.
- Тороп, П. Перевоплощение персонажей в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» / П. Тороп // Достоевский: история и идеология. – Tartu, Estonia : Tartu Ülikooli Kirjastus (Изд-во Тартусского ун-та), 1997.
- Чирков, Н. М. Великий философский роман («Преступление и наказание») / Н. М. Чирков // О стиле Достоевского. (Проблематика, идеи, образы). – М.: Наука, 1967.
- Manolakev, H. P. The Murder Plot in “Crime and Punishment”: A New Reading / H. P. Manolakev // Aspects of Dostoevskii. Art, Ethics and Faith / Edited by Robert Reid and Joe Andrew. – Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2012. – P. 81–100.

References

- Belov, S. V. (1985). *Roman F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie». Kommentarii* [Dostoevsky's Novel “Crime and Punishment”. A Commentary]. 2nd edition. Moscow, Prosvshchenie. 239 p.
- Chirkov, N. M. (1967). Velikii filosofskii roman («Prestuplenie i nakazanie») [The Great Philosophical Novel (“Crime and Punishment”)]. In *O stile Dostoevskogo. (Problematika, idei, obrazy)*. Moscow, Nauka.
- Dimitrov, L. (2018). Zloveshtiyat dobrozhelatel. (Porfiry Petrovich v personazhnata sistema na romana «Prestuplenie i nakazanie» ot F. M. Dostoevski). In Vacheva, A., Petkova, G., Parashkevova, R. (Eds.). *Interpretirame ruskata literature: Jubileen sbornik v chest na 75-godishninata na prof. dfn Petko Troev. Sofiya, SU «Sv. Kl. Ohridski», FSF*, pp. 67–75. URL: http://digilib.nalis.bg/dspviewer/srv/viewer/eng/ceaf90a-e162-4ede-babo-fc64e0640e91?tk=zur5CuFiTt66sPxx4GQOkQAAAAAgzcU9.ZsmDwu-ZK7gcQbHj_d2BMw&citation_url=/xhtmlui/handle/nls/29150 (mode of access: 22.06.2021).
- Dostoevsky, F. M. (1973). *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 t.* [Complete works, in 30 vols.]. Vol. 6: Prestuplenie i nakazanie. Moscow, Nauka.
- Kirpotin, V. Ya. (1986). *Razocharovanie i krushenie Rodiona Raskol'nikova* [Disappointment and Crush of Rodion Raskolnikov]. 4th edition. Moscow, Khudozhestvennaya literatura. 414 p.
- Manolakev, H. P. (2012). The Murder Plot in “Crime and Punishment”: A New Reading. In Reid, R. and Andrew, J. (Eds.). *Aspects of Dostoevskii. Art, Ethics and Faith*. Amsterdam, New York, NY., Rodopi, pp. 81–100.
- Manolakev, X. P. (2007). Syuzhet Svidrigailova: tekst i kontekst [The Story of Svidrigajlov: Text and Context]. In *Dostoevskii i mirovaya kul'tura. Al'manakh*. No. 22, pp. 156–186.

Midzhiferdzhyan, T. V. (1987). Raskol'nikov – Svidrigailov – Porfirii Petrovich: poedinok soznaniya [Raskolnikov – Svidrigailov – Porfiriy Petrovich: Duel of the Consciousness]. In *Dostoevskii. Materialy i issledovaniya*. Vol. 7, pp. 65–81.

Poddubnaya, R. N. (1971). Obraz Porfiriya Petrovicha v khudozhestvennoi strukture romana F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» [The Character of Porfiriy Petrovich in the Literary Structure of Dostoevsky's "Crime and Punishment"]. In *Voprosy russkoi literatury (Lvov)*. Issue 1/16, pp. 48–58.

Tarasova, N. A. (2015). *Khristianskaya tema v romane «Prestuplenie i nakazanie» F. M. Dostoevskogo* [The Christian Theme in F. M. Dostoevsky's Novel "Crime and Punishment"]. Moscow, Kvadriga. 192 p.

Tikhomirov, B. N. (2005). «Lazar'! Gryadi von». *Roman F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» v sovremennom prochtenii: Kniga-kommentarii* ["Lazarus, Come Forth." F. M. Dostoevsky's Novel "Crime and Punishment" in Contemporary Reading. A Commentary]. Saint Petersburg, Serebryanyi vek. 472 p.

Torop, P. (1997). Perevoploshhenie personazhei v romane F. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» [The Transformation of Characters in F. M. Dostoevsky's novel "Crime and Punishment"]. In *Dostoevskii: istoriya i ideologiya*. Tartu, Estonia, Tartu Ülikooli Kirjastus.

Vetlovskaya, V. E. (2007). «Khozhdenie dushi mytarstvam» v «Prestuplenii i nakazanii» Dostoevskogo. (Stat'ya vtoraya) ["Ordeals of the Soul" in Dostoevsky's Novel "Crime and Punishment". (Second Article)]. In *Dostoevskii. Materialy i issledovaniya*. Vol. 18, pp. 143–160.

Zundelovich, Ya. O. (1963). O stile romana Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie» [On the Style of Dostoevsky's Novel "Crime and Punishment"]. In *Romany Dostoevskogo*. Tashkent, Srednyaya i vysshaya shkola UzSSR, pp. 10–61.

Данные об авторе

Манолакев Христо Петров – доктор филологических наук, профессор русской литературы 19 в., Велико-Тырновский университет им. Свв. Кирилла и Мефодия (Велико Тырново, Болгария).

E-mail: h_manolakev@abv.bg.

Authors' information

Manolakev Hristo Petrov – Doctor of Philology, Professor in 19th Century Russian Literature, St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo (Veliko Tarnovo, Bulgaria).